

18+

2028

ПОСЛЕ 2027

ХАРЛАМОВ Геннадий

Геннадий Харламов

2028

<https://litres.ru/74148082>

ISBN 9785006996496

Аннотация

В 2027 он выжил. В 2028 его предали.

Изгнанный из своего лагеря по ложному обвинению, Анатолий должен вернуться. «Сириус» уже близко, время на исходе. Вместе с таинственным незнакомцем он бросит вызов корпорации и собственной судьбе.

Путь длиной в сотни километров через мёртвый лес закончится там, где начался кошмар. Новый мир не прощает слабости.

Содержание

2028	5
Глава 1. Первая зима	6
— Держись!	56
— М?	82
Глава 4. Кризис	85
— Рассказывай	93
Конец ознакомительного фрагмента.	97

2028

Геннадий Харламов

© Геннадий Харламов, 2026

ISBN 978-5-0069-9649-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

2028

Глава 1. Первая зима



Я сидел у костра. Не на чурбаке, не на поваленном дереве, не на голой земле — нет. Я сидел в кресле. В самом настоящем, старом, продавленном кресле, которое Степаныч когда-то приволок в сторожку неизвестно откуда. Обивка выцвела, из дырок торчал поролон, пружины подозрительно похрустывали при каждом движении, но это было кресло! С подлокотниками, с высокой спинкой, в котором можно было откинуться и смотреть на огонь, чувствуя себя почти человеком.

Я сидел в этом кресле, пододвинув его поближе к костру, и писал.

Карандашом. В старый блокнот. Тот самый блокнот, который я начал ещё в сторожке, а теперь продолжал здесь. Я писал свои мысли. Писал про наши злоключения. Про то, как мы сюда добрались, как строили новый дом, как боялись, как надеялись.

Для кого я это делал — понятия не имею.

Может, для себя. Чтобы не сойти с ума от этой тишины, от этого леса, от этого бесконечного «сегодня, которое похоже на вчера». Может, для потомков. Если вдруг через сто лет какой-нибудь археолог откопает мои каракули и решит, что нашел сокровище. Может, просто чтобы занять руки и голову.

Знаете, есть такая штука — когда вокруг тебя ничего не происходит, когда каждый день похож на предыдущий, ко-

гда нет интернета, новостей, разговоров с другими людьми — мозг начинает закипать. Он начинает придумывать страхи, раздувать проблемы, рисовать монстров из темноты. А когда я пишу — становится легче. Мысли устаканиваются, раскладываются по полочкам, перестают пугать.

Так что блокнот стал моим личным психотерапевтом. Бесплатным и всегда доступным.

Но сегодня писалось плохо.

Во-первых, пальцы. Они гудели. Не болели, нет — именно гудели, как провода под напряжением. Холод пробирался сквозь тонкую ткань перчаток, которые я натянул перед тем, как сесть, и добирался до самых костей. Я периодически откладывал карандаш, прятал руки подмышки, пытался согреть дыханием, но помогало это ненадолго.

Я боялся не столько прошлого и настоящего. С прошлым я как-то смирился. Настоящее я терпел. А вот будущее... Будущее пугало.

Потому что становилось холоднее с каждым днём.

Ещё пару-тройку недель назад я мог просидеть у костра полдня. Смотрел на огонь, думал о своём, иногда перекидывался парой слов со Степанычем, иногда просто молчал. Время текло медленно, но приятно. Было даже какое-то умиротворение в этом.

А теперь — полчаса, и всё. Пальцы не слушаются, в ноги заползает противный холод, даже лицо начинает неметь, хотя до огня рукой подать.

Осенняя свежесть, которая сначала казалась бодрящей и даже приятной, превратилась в холод. Просто в холод. Без романтики, без красивых метафор. Тот самый, от которого хочется залезть под три одеяла и не вылезать до апреля.

Но нельзя. Потому что зима — это не только холод. Это ещё и голод, если не подготовиться.

Мы усиленно готовили запасы. Это была наша главная задача, наша одержимость, наша головная боль. Каждый день мы что-то сушили, солили, коптили, складывали в погреб, перебирали, проверяли.

Но без холодильника делать это было... затруднительно. Очень дипломатично выражаясь.

У нас был погреб. Мы выкопали его достаточно глубоким — Степаныч настоял, сказал, что чем глубже, тем холоднее. И он, конечно, был прав. В погребе температура держалась заметно ниже, чем на поверхности. Но это не было холодильником. Это не было даже погребом моей бабушки из детства, где банки с соленьями стояли годами и не портились.

Наши запасы портились. Это был факт, который мы оба старались не обсуждать вслух, но который висел в воздухе, как тот самый запах от подпортившейся рыбы.

Грибы, которые мы засушили летом, начинали отсыревать. Часть пришлось выбросить — на них появилась какая-то плесень, и Степаныч, глядя на это с таким лицом, будто хоронил родственника, вынес их в лес и закопал.

— Чтобы запаха не было, — буркнул он тогда. — Зверей привлекать ни к чему.

Рыба, которую мы солили и коптили, тоже вела себя капризно. Та, что была в бочонке, просолилась неравномерно — сверху норм, в середине — как-то так себе. Копчёная хранилась лучше, но её было меньше.

Ягоды, перетёртые с сахаром... Вот это отдельная песня. Мы закатывали их в банки, как учила книга Ивановны. Думали, всё сделали правильно. А они взяли и забродили. Три банки малины пришлось вылить — внутри образовалась такая гадость, что даже пробовать не стали. Степаныч тогда долго сидел, смотрел на эти банки и молчал. Я знал, что он думает: «Сколько сил потратили, сколько ягод собрали — и всё насмарку».

Усугубляло ситуацию отсутствие банального опыта. И это, пожалуй, было нашей главной проблемой. Не холод, не голод, не опасность нападения — а простое отсутствие навыков.

Ни я, ни Степаныч не были ни дачниками, ни огородниками, ни мастерами заготовок.

Степаныч всю жизнь проработал в полиции. Он умел задерживать преступников, вести допросы, стрелять, маскироваться, следить. Но он никогда не солил рыбу в промышленных масштабах. Не сушил грибы. Не закатывал компоты.

Я — тем более. Я вообще из детдома. Там нас кормили,

поили, одевали, но не учили, как выживать в лесу зимой, если закончились консервы.

Еще каких-то полгода назад я бы даже не подумал о том, какими капризными могут быть продукты. Для меня еда была чем-то, что лежит в холодильнике в магазине, ждёт, когда я её куплю, и не портится как минимум неделю.

А теперь я знал, что перегрел — стухло. Передержал открытой банку — скисло. Положил не в то место — завелись какие-то жучки. Не прокипятил воду для рассола — привет, бактерии.

Да и не нужно мне было это раньше. Я покупал себе минимальный набор на несколько дней в сетевом магазине. Закидывал в холодильник. Доставал. Ел. Повторял.

Я даже на сроки годности при покупке смотрел через раз. Ну, серьёзно? Кому вообще нужны эти мелкие циферки, если продукт выглядит нормально и пахнет нормально?

Теперь я знал, что эти мелкие циферки — разница между сытным ужином и отравлением.

На мгновение я отложил блокнот, сунул замёрзшие пальцы подмышки и просто сидел так, глядя на огонь. И сам не заметил, как расплылся в глупой, кривой улыбке.

Потому что вспомнил.

Докторская колбаса. Сервелат. Копчёная курочка. Плавленный сыр.

Боже, как же мне этого хотелось!

Не какой-то там изысканной еды. Не стейков из мрамор-

ной говядины, не устриц, не чёрной икры. Обычной колбасы. Которую можно просто нарезать, положить на батон, смазать кетчунезом и съесть. Не жареную рыбу. Не грибной суп. Не кашу с тушёнкой в сотый раз.

А обычную, простую, дурацкую колбасу.

Я вспомнил, как заходил в магазин после работы, брал палку сервелата, пару помидоров, батон. Приходил домой, нарезал, включал сериал и ел. Просто ел. Не думая о том, что завтра этой колбасы может не быть. Не переживая, что банка с малиновым вареньем забродила. Не подсчитывая, сколько дней продержатся запасы, если растягивать.

Как сильно мне не хватало того, что ещё совсем недавно казалось обыденностью! Тем, на что я не то что не обращал внимания — я считал это должным. Само собой разумеющимся.

Я сидел у костра, в старом кресле, в лесу, посреди вымершего мира, и мечтал о докторской колбасе. Смешно? Наверное. Грустно? Точно.

Сейчас весь наш рацион состоял из грибов, собранных Степанычем, остатков ягод, которые мы успели заготовить до холодов, и рыбы. Много рыбы. Очень много рыбы.

Мы её жарили, варили, коптили, солили, сушили. Я уже знал о рыбе всё, чего не знал и не хотел знать. Знал, как определить свежесть по жабрам. Знал, сколько соли нужно на килограмм для сухого посола. Знал, что коптить лучше на ольховых дровах, а на сосновых — горчит.

И меня от неё уже тошнило.

Честно. Я смотрел на рыбу и внутри всё переворачивалось. Не потому, что она была плохой — она была нормальной. Просто одно и то же каждый день. Каждое утро. Каждый обед. Каждый ужин.

Рыба. Рыба. Рыба.

У нас были закутки. Те самые, которые я взял из погреба бабы Маши. Солёные огурцы, помидоры, кабачковая икра, лечо, компоты. Настоящее богатство, которое мы везли на плотах как зеницу ока. Но Степаныч...

— Это на зиму, — говорил он, когда я заглядывался на банку с маринованными огурцами. — Зимой сожрём.

— А может, одну? — пробовал я. — Для настроения?

— Для настроения тебе костёр, — отрезал он. — Иди дров накопи.

Были у нас и остатки консервов — тушёнка, сгущёнка, паштет. Те самые, которые мы покупали ещё в той жизни, которые везли из города, которые грузили в лодку как величайшую ценность. Их было немного. Степаныч пересчитывал банки раз в неделю, сверялся с каким-то списком в голове и вздыхал.

Крупы, макароны, мука. Тоже были. Я пёк лепёшки из муки и воды — единственное, что научился делать. Получалось не ахти, но съедобно.

Но на всё это комендант — я в шутку стал называть Степаныча комендантом, и, кажется, ему даже нравилось — наложил вето.

Помните эту фразу, которая вгоняла в тоску и бешенство одновременно? «Не трогай, это на новый год!»? Вот так же мне говорил Степаныч. Только вместо нового года у него было — зима.

— Это на зиму, — повторял он как заведённый. — Это на зиму. Это на зиму.

Я понимал его. И даже был согласен. Частично.

Но когда я смотрел на эту банку с лечо, а вокруг была только рыба и грибы, понимание как-то улетучивалось. Остаётся одно желание — открыть, съесть, не думать.

Когда мы плыли сюда, я отчётливо помнил — один из плотов был набит едой почти до краёв. Мне казалось, что её так много, что нам на пару лет хватит. Я смотрел на эти баулы, банки, мешки и чувствовал себя если не богачом, то как минимум уверенным в завтрашнем дне.

Оказалось — иллюзия.

Во-первых, я не учёл, что нас двое. Два мужика, которые едят не как воробьи. Во-вторых, часть продуктов испортилась. В-третьих, запасы, которые казались огромными, на деле были просто... ну, нормальными. На пару месяцев. Может, на три, если сильно экономить.

А зима — она длинная. Очень длинная. Особенно когда ты в лесу, без магазинов, без доставки, без надежды на пополнение.

И сейчас, когда до снега оставались считанные недели, мы уже начали прикидывать, дотянем ли до весны.

Страшно было даже думать об этом вслух.

К тому же, хотелось банальной гречи. Горячей, рассыпчатой, с маслом. Или хотя бы без масла — просто гречи. Тёплой лепёшки, которую я пёк из муки и воды, а не рыбы с грибами.

Я понимал, что жалуюсь, как капризный ребёнок, что миллионы людей сейчас, возможно, вообще не имеют еды. Что мы — счастливчики. Что у нас есть дом, костёр, запасы, ружьё, друг.

Но от этого понимания тошнота от рыбы не проходила.

Из последних новостей, а новости у нас были только те, что мы видели своими глазами, мы так и не закончили стройку.

И это, знаете, лишний раз доказывало старую истину: ремонт — это навсегда. Даже апокалипсис его не отменяет.

Нет, мы конечно доделали дом. Обустроили его. Теперь у каждого была своя комната — маленькая, но своя. Дверь закрывается — и ты один. Можно посидеть в тишине, подумать, не слушать храп Степаныча, который стал просто легендарным по громкости.

Печка работала, дымоход тянул, крыша не текла. Всё было

нормально.

Но главным камнем преткновения стал забор.

Понимаете, в сторожке у нас был забор — чисто символический. От козликов, как говорил Степаныч. Доски с промежутками, калитка на щеколде. От медведя он бы не спас, от человека — тем более.

Но там, в сторожке, нам было как-то... спокойнее, что ли. Мы думали, что мы одни. Что никого нет. Что нас не найдут.

После того, что случилось, после камеры на утёсе, после тех троих в белом — мы поняли, что это не так. Что кто-то здесь есть. Или был. Или будет.

Поэтому Степаныч решил: забор нужен основательный. Не «от козликов», а настоящий частокол. Чтобы не облизывал территорию впритык к дому, а давал пространство. Метров двадцать-тридцать в каждую сторону.

Чтобы было место для огорода. Для хозяйственных построек. Чтобы мы могли выйти из дома и не упираться сразу в лес.

Чтобы, если кто-то придёт, мы его увидели издалека.

Идея была правильной. Но её реализация...

Мы пилили деревья. Много деревьев. Я брал пилу (не бензопилу — берегли бензин на всякий случай, пилили вручную) и валил сосны. Степаныч размечал, я пилил. Потом мы обрубали сучья, очищали стволы, тащили к месту.

Степаныч копал ямы. Глубокие, под каждый столб. Я таскал бревна, ставил их, засыпал землёй, трамбовал.

Работа кипела. С утра и до вечера. Каждый день.

Комендант решил, что мы работаем шестидневку. Воскресенье — выходной. Для нас, как он выразился, «для профилактики переутомления». На деле — чтобы я не сдох, потому что сил уже не было.

Но даже несмотря на столь ударные темпы, из-за масштабов проекта и банальной нехватки рабочих рук, мы продвигались крайне медленно.

Два человека — это мало. Очень мало, когда надо поставить забор на сотню метров. Мы не экскаватор, не бригада строителей. Мы — бывший опер и бывший веломастер. Наши навыки в этой ситуации были... специфическими.

Я мог быстро починить велосипед. Я мог собрать компьютер. Я мог даже, при должном усердии, заменить проводку в квартире. Но вкапывать столбы для забора я учился прямо на ходу. Методом проб и ошибок. Ошибок было больше.

Степаныч умел стрелять, допрашивать, задерживать. Вкапывать столбы — не его профиль. Но он делал это лучше меня. Просто потому что он старше и упрямее.

К концу октября — а это уже почти зима, это вам не шутки — мы успели поставить забор только с одной стороны. Той, что выходила к лесу. Остальные три стороны пока оставались открытыми.

Уверенности в том, что мы успеем к зиме, становилось всё меньше и меньше.

Я ловил себя на мысли, что Степаныч тоже это понима-

ет. Понимает, но молчит. Потому что если начать обсуждать вслух, то страхи станут реальными. А пока молчишь — вроде бы ещё не всё потеряно.

И в этом молчании было что-то... тягостное. Мы оба знали, что не успеваем. Но оба делали вид, что всё нормально. Что мы просто не торопимся. Что ещё есть время.

Времени не было.

Я отложил блокнот, потер замёрзшие руки, посмотрел на огонь. Костер догорал, надо было подкинуть дров.

И тут — голос за спиной.

— Эй, книгопис.

Хриплый, чуть насмешливый, такой родной уже. Степаныч. Стоит, опираясь на топор, и смотрит на меня с тем выражением, которое я называю «ты опять за своими глупостями».

— Пошли есть.

Я хотел сказать, что не голоден. Что ещё пара абзацев, и я закончу. Что дайте мне пятнадцать минут, но посмотрел на свои пальцы — красные, замёрзшие, еле сгибающиеся — и понял, что всё равно сегодня уже ничего не напишу.

— Я воль, хер комендант, — добавил я ему вслед.

Он не обернулся, но я видел, как дёрнулось его плечо. То ли усмехнулся, то ли просто хотел показать, что слышал.

Я поднялся, взял блокнот, сунул за пазуху, чтобы не замёрз. Потопал ногами, разгоняя кровь. И пошёл за ним.

Ужин. Потом — снова работать. Забор сам себя не построит.

А зима уже дышала в спину. Следующие несколько дней мы работали меньше обычного. Холода, которые поначалу казались просто осенней свежестью — ну, знаете, такой приятный холодок, когда можно надеть кофту и чувствовать себя уютно, — теперь превратились в настоящую проблему. Они вносили свои коррективы, и эти коррективы были, мягко говоря, не в нашу пользу. Шестичасовой рабочий день, который мы себе установили ещё в начале стройки, когда солнце светило ярко и даже в одной футболке было жарко, теперь растянулся с утра и до позднего вечера. Потому что мы были вынуждены делать перерывы. Частые перерывы. Каждый час, если не чаще.

Мы останавливались, бросали инструменты, подходили к костру, который горел теперь постоянно на территории, протягивали руки к огню, ждали, когда пальцы перестанут быть похожи на сосульки, и снова возвращались к работе. Через час — повторяли. И так по кругу. Производительность упала катастрофически. Я смотрел на незаконченный забор, на гору брёвен, которые ещё предстояло вкопать, и понимал, что

мы не успеваем. Степаныч тоже это понимал, но молчал. А молчал он потому, что его характер, и без того не сахар, с каждым днём становился всё мрачнее и злее.

Он не то ворчал, не то хандрил, я уже и сам не мог разобратъ. Но чем холоднее становилось на улице, тем холоднее становилось и в наших отношениях. Степаныч превратился в настоящего медведя-шатуна, которого разбудили посреди спячки и теперь он ходит злой на весь белый свет. Он придирался к каждому моему движению, к каждому взмаху топора, к каждому бревну, которое я подавал. Я работал и ловил себя на мысли, что если такая тенденция сохранится, то мне будет проще, если он, словно настоящий медведь, впадёт в спячку до весны. Ну, серьёзно? Пусть бы залёг где-нибудь в углу своей комнаты, свернулся калачиком и проспал до марта. А я бы тогда работал в тишине, без этого вечного бурчания за спиной. Красота!

Но, конечно, я это только думал. Вслух такое говорить — самоубийство.

— Да куда ты эту херь пилишь?! — в очередной раз ворчал Степаныч, когда я занёс топор над очередным бревном. — Гнилое дерево, не видишь, что ли?!

Голос у него был такой, будто я не бревно собрался рубить, а поджечь его любимую книжку «Робинзона Крузо», которую он перечитывал в четвёртый раз. Я замер, опустил

топор, посмотрел на бревно. Нормальное бревно. Крепкое, без видимых признаков гнили. Но спорить не хотелось. Спорить с ним сейчас — это как лбом об стену биться. Бесплезно и больно.

— Я и не смотрю даже, — отмахнулся я, стараясь не вскипеть, хотя внутри уже всё закипало. — Делаю, что ты сказал.

— Глаза тебе для чего?! — продолжал он, не унимаясь. — Для красоты, что ли?

— А тебе? — вырвалось у меня.

Я сам не ожидал, что скажу это. Просто сорвалось с языка. Терпение лопнуло, как гнилая верёвка. Я стоял, сжимая топор, и смотрел на него. Он смотрел на меня. Между нами пробежала искра. Не та, что сближает, а та, что предшествует взрыву.

— Не понял? — нахмурившись, спросил он.

Голос стал тише, но от этого не менее опасным. Он наклонил голову чуть вперёд, как делал всегда, когда чувствовал, что сейчас начнётся серьёзный разговор. Я видел это выражение лица уже сотню раз. Оно означало: «Ты уверен, что хочешь это продолжать?»

— Ой, — выдохнул я, выдернув топор из мощного ствола,

который, к слову, вообще не был гнилым, и мы оба это знали. — Мы как договорились? Ты мне показываешь деревья, я пилю, ты точишь. Так?

Я старался говорить спокойно. Даже слишком спокойно. Потому что если бы я позволил себе закричать, то всё — поезд ушёл. И обратно его уже не вернуть.

— Так, — кивнул Степаныч, и в его голосе я услышал что-то, чего не ожидал. Согласие. Он прекрасно понимал, к чему я веду, и, кажется, даже был готов признать свою неправоту. — Мой косяк.

Он помолчал секунду, потом добавил уже другим тоном, почти примирительным:

— Ты только топор положи.

И усмехнулся. Криво, по-стариковски, но это была улыбка. Он вовремя перевёл всё в шутку. И я выдохнул. Потому что спорить дальше не хотелось. Я устал. Мы оба устали.

Мы продолжили работать. Молча. Каждый думал о своём. Я — о том, что когда-то, в другой жизни, я сидел в тёплой мастерской, пил кофе и обсуждал с коллегами, какой сериал посмотреть вечером. А теперь я стою в лесу, в мороз, с топором в руках, и ссорюсь со стариком из-за какого-то гнилого

бревна. Смешно? Наверное. Грустно? Определённо.

Он и сам понимал, что я терплю его из последних сил. Да он и сам себя терпел из последних сил. Я видел это по его глазам, по тому, как он сжимал челюсти, по тому, как тяжело вздыхал, когда думал, что я не слышу. Но ничего не мог с собой поделать. Холод делал своё дело. Он высасывал силы, вымораживал терпение, превращал даже самого спокойного человека в нервного и раздражительного.

Очередной день закончился одновременно с тем, как солнце начало скрываться за горизонтом, а лес покрывался темнотой. Мы не договаривались об окончании работы, просто в какой-то момент оба поняли, что всё — больше не можем. Степаныч опустил топор, я отложил пилу. Мы постояли несколько секунд, глядя на то, что успели сделать. Мало. Очень мало. Но выжать из себя больше было просто нереально.

Я стоял, смотрел на этот лес и думал о том, какой же он разный. Этот лес, который нас окружал сейчас, отличался от того, что был у нашей прошлой сторожки, кардинально. Если там была сказочная полянка с белочками и поющими птичками, зелёная и яркая, с мягкой травой и ласковым солнцем, то тут лес, словно испытывал нас на прочность. Он прощупывал наш характер, словно интервьюер на собеседовании, решая — брать нас или нет. Лес был густым и тёмным, даже днём. Солнце с трудом пробивалось сквозь кроны, отбрасывая длинные, зловещие тени. А ночью...

Ночью здесь начиналось что-то необъяснимое.

По ночам слышался волчий вой. Не далёкий, едва различимый, а близкий, почти рукой подать. Я лежал в своей комнате, смотрел в потолок и слушал, как они перекликаются где-то в чаще. И внутри всё холодело. Не от страха — от осознания, что мы тут не одни. Что у этого леса есть свои хозяйева, и мы — всего лишь гости. Непрошенные, наверное.

Степаныч тоже видел и слышал это. Я замечал, как он напрыгается, когда вой становился особенно громким. Как он хмурится и сжимает ружьё крепче обычного. Он опасался, я это знал. Но никогда не говорил со мной на эту тему, словно боясь показать слабинку. Словно признать, что ему страшно, — значит, проиграть.

Не сговариваясь, мы пришли к тому, что после захода солнца мы не выходим за пределы нашей территории. За пределы этого условного, незаконченного забора, который пока что защищал нас скорее символически, чем на самом деле. У нас был костёр, который мы поддерживали всю ночь. У нас были стены дома, условная ограда. У нас было ружьё. Но всё равно, каждый шорох, каждый треск ветки заставлял сердце биться чаще.

Сегодня желания что-то писать не было совсем. Ни одной мысли, ни одного слова. Я сидел на крыльце, смотрел на огонь, но в голове была пустота. Холодная, тягучая, как зимняя река подо льдом. К тому же была моя очередь готовить, а это означало, что нужно заставить себя встать, пойти

в дом, нарезать рыбу, разогреть кашу, сделать чай. Всё то же самое, что и вчера. И позавчера. И неделю назад.

Я вздохнул, поднялся, отряхнул штаны от снега и пошёл на кухню.

Степаныч, который, несмотря на возраст, работал ничуть не меньше меня, а иногда даже больше, потому что его упрямство не позволяло ему сбавлять темп, рухнул на кровать в своей комнате. Я заглянул к нему — он лежал поверх одеяла, в свитере, в носках, и читал. Угадайте, что? «Робинзона Крузо». Четвёртый раз, если я правильно считал. Он ещё в прошлый раз отшучивался, когда я спросил, зачем он перечитывает одну и ту же книгу.

— Первый раз — в школе, по программе, — объяснял он тогда, поправляя очки. — Ничего не понял, только мучился. Второй раз — на службе, в командировке, делать было нечего. Прочитал уже взрослым взглядом, оценил. Третий раз — когда решил сюда перебираться, как инструкцию по выживанию. А четвёртый... — он замолчал, задумался, потом усмехнулся. — А четвёртый — просто так. Для души.

Я тогда подумал: вот это у человека отношение к книге. Для меня книга — это что-то, что я один раз открыл, прочитал, закрыл и забыл. А для него — как старый друг, к которому возвращаешься снова и снова.

Сейчас он лежал, уткнувшись носом в потрёпанный то-

мик, и шевелил губами, будто читал вслух. Я не стал его отвлекать. Молча прошёл на кухню, поставил чайник, нарезал хлеб, открыл банку с тушёнкой — одну из тех, что мы берегли на особый случай. Сегодня был особый случай. Не потому, что праздник. А потому, что я замерз так, что мне нужно было что-то жирное и калорийное, чтобы согреться изнутри.

Мы поужинали молча. Степаныч ковырялся в тарелке, я смотрел на него и думал: сколько ещё мы так продержимся? Месяц? Два? До весны? А что, если весна будет поздней? Что, если снег растает только в апреле? Наши запасы, которые казались огромными, таяли быстрее, чем я успевал это осознать.

После ужина я помыл посуду в реке, проверил, не погасли костёр во дворе, закинул дров в буржуйку и лёг спать. Уснул я быстро — так быстро, что даже не заметил этого момента. Просто закрыл глаза — и провалился в темноту. Спал крепко, без снов, без мыслей, без кошмаров. Просто отключился, как компьютер, который выдернули из розетки.

А утром меня разбудил крик.

— Твою ж гадскую мать!

Я открыл глаза. Сначала не понял, где я и что происходит. Потолок над головой, стены из брёвен, запах дыма и рыбы. Всё как обычно. Но крик был настоящий, живой, и доносился он с улицы. Голос Степаныча.

Я вылез из-под одеяла, натянул штаны, сунул ноги в сапоги, накинул куртку прямо на голое тело — было не до церемоний — и выскочил на крыльцо.

И замер.

Я стоял на крыльце, смотрел и не верил своим глазам. Мир изменился за одну ночь. Кардинально, безвозвратно, начисто.

Всё вокруг было белым-бело. Снег лежал везде: на земле, на крыше, на заборе, на дровах, на том, что вчера еще было костром, на брошенных вчера инструментах. Его было много. Очень много. По колено, если не больше. Местами сугробы доходили почти до пояса. Я смотрел на это белое безмолвие и не мог выдавить из себя ни слова. Просто стоял, открыв рот, как рыба, выброшенная на берег.

— Как так? — выдавил я наконец. Голос прозвучал сипло и как-то по-детски растерянно. — Вчера же сухо было! Трава зелёная! Я в одной куртке ходил!

Степаныч стоял посреди двора, закопанный в снег почти по колено, и смотрел на небо. Лицо у него было такое, будто он увидел пришельцев. Или будто у него украли последнюю банку тушёнки.

— Вчера сухо, — повторил он, медленно поворачиваясь ко мне. — А сегодня, сука...

Он не договорил. Просто ткнул пальцем в белое полотно, которое расстилалось перед нами до самого горизонта. Жест был красноречивее любых слов.

— Кажись, с забором мы не успели, — выдохнул я, глядя на то, что осталось от нашей стройки.

Несколько вкопанных столбов торчали из снега, как пальцы утопленника. Половина брёвен так и лежала в куче, припорошенная снегом. Мы планировали закончить хотя бы одну сторону полностью, но не успели. Зима наступила раньше, чем мы ожидали.

Я стоял и смотрел на этот полуразвалившийся забор, на этот снег, на этот лес, и чувствовал, как внутри поднимается что-то тяжёлое, безнадёжное. Мы не готовы. Мы совсем не готовы к зиме.

— Ладно, — сказал вдруг Степаныч.

Я повернулся к нему. Голос его был спокойным. Даже слишком. Не было в нём ни злости, ни раздражения, ни того вечного ворчания, которое уже въелось мне в кожу. Он просто стоял, смотрел на снег и кивал сам себе, будто принимал какое-то важное решение.

— Весной продолжим, — выдохнул комендант.

Я уставился на него. Серьёзно? Вот так просто? Без споров, без криков, без «я же говорил»? Он что, заболел? Или это снег так на него подействовал?

Но нет. Он стоял, спокойный и какой-то даже... умиротворённый, что ли. Словно зима сняла с него груз ответственности. Словно он наконец-то выдохнул и сказал себе: «Всё, хватит. Мы сделали, что могли. А теперь — отдых».

Он постоял так ещё с минуту, глядя на снег, на лес, на это белое безмолвие, которое накрыло нас, как одеяло. Потом зевнул — широко, по-стариковски, даже не прикрывая рот — и, развернувшись, пошёл обратно в дом. В свою комнату. Спать.

— Ты куда? — удивился я.

— Досыпать, — бросил он через плечо и махнул рукой.

Дверь за ним закрылась. Я остался один. Стоял на крыльце, смотрел на снег и думал.

И то верно, — подумал я. Мы вставали каждое утро на рассвете. В пять, а иногда и в четыре утра, когда ещё звёзды не погасли. Работали до темноты, до тех пор, пока руки не начинали трястись от усталости. И мне казалось, что недосып накопился на несколько недель вперёд. Но парадокс заключался в том, что я, в отличие от Степаныча, привык к

такому графику. В детдоме, в техникуме, на заводе — везде надо было вставать рано. И организм мой, кажется, адаптировался.

Я стоял, смотрел на снег, на эту тишину, и не мог уснуть. В голове крутились мысли. О заборе, о запасах, о зиме, о том, что будет дальше. Сколько бы я ни ворочался, сколько ни пытался заставить себя закрыть глаза и отключиться — ничего не получалось. Сон не шёл.

Тогда я оделся. Натянул на себя всё, что было тёплого: термобельё, шерстяные носки, две кофты, куртку, шапку, варежки. Взял в сенях лопату, которую мы сделали на прошлой неделе из подручных материалов, и вышел во двор.

Пока мой сосед спал — а он спал, я слышал его раскати-стый храп даже через стену, — я успел полностью очистить территорию от снега. Расчистил дорожку от крыльца до ка-литки, расчистил площадку перед домом, расчистил место для костра. Работал быстро, зло, с каким-то азартом. Потому что если нельзя было спать, то надо было делать хоть что-то полезное.

А потом мне в голову пришла идея.

Я нашёл кусок толстой фанеры, который остался от упа-ковки каких-то припасов, привязал к нему верёвку и сде-лал нечто вроде широкого полотна. Им можно было сгребать снег гораздо быстрее, чем лопатой. Сначала я просто таскал его за собой, потом приспособился толкать перед собой. За час управился с тем, на что лопатой ушло бы полдня.

Когда Степаныч вышел из дома — а вышел он ближе к обеду, выспавшийся, бодрый, как огурчик, — я уже заканчивал чистить последний угол.

Он остановился на крыльце, посмотрел на расчищенный двор, на моё творение из фанеры, потом на меня. В глазах его мелькнуло что-то. Не удивление. Уважение.

— О, — сказал он. И кивнул. — Это ты молодец.

Вот так. Без лишних слов. Без «спасибо», без похвал. Просто «это ты молодец». И этого было достаточно. Потому что от Степаныча, коменданта нашего маленького лесного королевства, даже такая короткая фраза значила больше, чем целая речь от кого-то другого.

Я кивнул в ответ. Не стал ничего говорить. Просто взял лопату и пошёл убирать инструменты.

Зима наступила внезапно. Хотя, если подумать, рано или поздно её следовало ожидать. Как никак — начало ноября. В прошлой жизни, в городе, ноябрь означал слякоть, серое небо, мокрый снег, который тает, не долетев до земли, и вечные пробки. Здесь всё было иначе. Снег выпал — и остался.

Мы продолжали следить за днями недели и числами через мой телефон, который я регулярно заряжал через зарядную станцию. На ней был индикатор заряда, и я следил, чтобы он не падал ниже половины. Солнечная батарея работала исправно, даже в пасмурную погоду давала хоть что-то.

Зачем я это делал? Честно? Я не знаю. Смысла не было никакого. Связи здесь не было, интернета не было, новостей не было. Телефон давно превратился просто в кусок пластика и стекла, который показывал время и хранил фотографии. Но я всё равно включал его каждое утро. Проверял дату. Смотрел на старые фото. Листал контакты, которые уже никогда не загорятся зелёным цветом вызова.

Наверное, потому что телефон был последней ниточкой, которая связывала меня с цивилизацией. С тем миром, где были люди, дома, машины, магазины, интернет. Где можно было позвонить другу, заказать пиццу, посмотреть новости. Тот мир умер, но маленький кусочек его продолжал жить у меня в кармане. И пока телефон работал, мне казалось, что я всё ещё часть этого мира. Что я не окончательно оторван от прошлого.

Глупо, наверное. Но мне было легче.

Я сидел у костра, смотрел на огонь и думал о том, что скоро Новый год. Первый Новый год в новой жизни. Интересно, как мы его встретим? Будем сидеть у костра, жарить рыбу, пить чай с забродившим малиновым вареньем? Или Степаныч достанёт какую-нибудь банку с «особого назначения», и мы устроим праздник?

Я улыбнулся этой мысли. И достал блокнот.

Надо было писать дальше. Потому что если не записывать, то всё забудется. А забывать это нельзя. Это моя жизнь. Наша жизнь.

Степаныч сидел рядом, читал свою книгу и иногда бросал на меня взгляды. Я знал, что он думает. «Опять ты со своим блокнотом, книгопис».

Но он молчал. И это было хорошо.

Глава 2. Обед молчания

Погода оказалась верна себе. Никаких сюрпризов, никаких поблажек. С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Этот холод пробирался не только под одежду, но и куда-то глубже — под кожу, в мышцы, в кости. Я перестал чувствовать кончики пальцев ещё неделю назад, и, кажется, начал привыкать к этому состоянию.

Несколько дней подряд шёл снег. Да не просто шёл, а валил, как из ведра. И это были не те красивые анимационные снежинки из новогодних фильмов, которые медленно кружатся в воздухе, создавая уютную атмосферу. Нет. Это были огромные, размашистые хлопья — мокрые, тяжёлые, агрессивные. Они заметали нас быстрее, чем я успевал откапываться.



Казалось, вот — только что я расчистил территорию от крыльца до калитки, только что откинул снег от поленницы и от входа в погреб, только что перевёл дух, — и всё, начинай заново. Потому что земля снова белая, а сугробы снова по колёно. Я ловил себя на мысли, что борьба со снегом стала главным моим занятием. Даже не дрова, не вода, а именно эта бесконечная, монотонная, сводящая с ума работа — откидывать, откидывать, откидывать.

Руки гудели, спина ныла, но останавливаться было нельзя. Потому что если запустить — не выйдешь из дома. Просто утонешь в этом белом безмолвии.

Проблемой оказалась и вода. Река замерзла очень быстро. Я не заметил этого момента. Просто однажды утром вышел на берег с ведрами, как делал это каждый день, а вместо привычной тёмной воды под ногами был лёд. Толстый, крепкий, с белыми разводами у краёв. Я постоял, посмотрел, потопал ногой — не провалился. Значит, промёрзло основательно.

Я предложил Степанычу топить снег и кипятить его. Вроде бы логично: снег — это та же вода, только замёрзшая. Набрал полное ведро, занёс в тепло, растопил — и вот тебе вода, пожалуйста, пей сколько влезет. Но комендант отказался наотрез. Категорично, даже с какой-то брезгливостью, будто я предложил ему пить из лужи.

— Река есть река, — сказал он, поджав губы. — А снег

— это грязная жижа. В нём и пыль, и сажа, и что только не оседает. Не буду я эту бурду кипятить и внутрь принимать.

Я лишь отшутился. Пожал плечами и выдал:

— Ну, небо есть небо, а деревья есть деревья.

Честно говоря, я и сам не был уверен, что прав. В какой-то передаче по телеку, ещё в прошлой жизни — той, которая сейчас казалась сном или выдумкой, — я слышал нечто подобное. Какая-то учёная тётка в очках рассказывала, что талый снег по своему составу мягче и полезнее, чем вода из реки или из-под крана. Но где та тётка сейчас? И где та передача? В общем, я был скорее согласен со Степанычем, чем нет. Вода как вода. Главное, чтобы была.

А потому мы стали долбить лёд.

Работёнка, скажу я вам, ещё та. Вроде бы час орудовал топориком, вроде бы набил два полных ведра с горкой. Идёшь обратно, радуешься, что всё сделал быстро и эффективно. Но стоило этой горе растаять, воды едва ли хватало на завтрак. Остатки — на чай и на суп, если повезёт.

Я стоял перед ведром, смотрел, как на дне плещется жалкий сантиметр, и чувствовал себя обманутым. Лёд занимал объём, а вода — нет. Восьмой класс, физика, закон Архимеда — всё это я когда-то учил, но на практике столкнулся впервые. И это было обидно. По-настоящему обидно. Пото-

му что каждый раз ты тратишь кучу сил, а получаешь крохи.

Так наша мимолётная радость от перерыва в строительстве частокола и надежда на передышку сменились сразу тремя делами, которые отнимали почти всё время.

Первое — долбёжка льда для добычи воды. Второе — уборка снега. Третье — колка дров.

И если первые два были просто тяжёлыми и нудными, то третье вообще оказалось задачей бесконечной. Абсолютно бесконечной.

Я колол дрова утром. Я колол их днём. Я колол их вечером, когда уже ничего не видел и работал почти на ощупь. Буржуйка жрала их с невероятной скоростью. Казалось, что я закидываю в неё не поленья, а щепки — настолько быстро они прогорали. Я успевал наколоть гору, занести в дом, сложить у печки — и через день от этой горы ничего не оставалось. Только зола.

Мне было жалко деревья. Честно. Я не какой-нибудь эко-активист, который обнимает каждую сосну и называет её по имени, но смотреть, как вокруг дома исчезают ствол один за другим, было как-то... неправильно, что ли. Лес редел. Не сильно, конечно, но я замечал. Особенно те деревья, которые росли ближе всего к нашей территории. Мы их скосили первыми. Потому что тащить брёвна издалека по сугробам — это самоубийство, если по-русски.

Для частокола мы рубили крупные стволы, но старались брать их подальше от дома. Во-первых, чтобы не портить

вид. Во-вторых, чтобы оставить вокруг нас естественную защиту от ветра и снега. А вот на дрова шло всё, что горело, и желательно как можно ближе к дому. Потому что каждый лишний метр пути по сугробам — это лишняя капля пота и лишняя минута времени, которого и так не хватало.

Я иногда останавливался, опирался на топор, смотрел на обезображенный пенёк и думал: «Прости, брат. Так надо». И рубил дальше.

Странное дело — любовь к себе в этих условиях побеждала любовь к природе всегда, без вариантов. И я себя за это не осуждал. Потому что вопрос стоял просто: замёрзнуть или нет. Выбор очевиден.

Удивительно, но Степаныч в последнее время стал менее ворчливым. Не то чтобы он превратился в ласкового котёнка — нет, куда там. Он всё так же мог буркнуть что-то едкое, глядя на мою стряпню, или покачать головой, когда я слишком громко матерился, промахиваясь топором по полену. Но той постоянной, тягучей, выматывающей злобы, которая была в нём ещё месяц назад, не стало.

Он стал спокойнее. Даже, я бы сказал, задумчивее. Иногда я ловил его взгляд, устремлённый в окно, и не мог понять, о чём он думает. О прошлом? О дочке? О том, что будет весной? Он молчал, и я не лез.

Мне это спокойствие нравилось. С ним снова стало возможно говорить. Мы могли перекинуться парой фраз за ужином, могли обсудить, куда лучше завтра сходить за льдом,

могли даже пошутить иногда — правда, шутки у нас были такие, что нормальный человек бы не понял. Чёрный юмор, юмор людей, которые видели смерть и перешагнули через неё.

Всё налаживалось. Я уже начал думать, что мы пережили самый трудный период, что зима не сломает нас, что мы выдюжим.

Но один вечер перечеркнул всё.

Это случилось после ужина. Мы сидели на кухне, допивая чай — тот самый, из трав, который Степаныч заваривал по своему рецепту. Буржуйка работала как не в себя, раскалилась до тёмно-красного, и в сторожке было тепло. Даже жарковато, если честно. Я сидел в одной футболке, откинувшись на спинку стула, и чувствовал, как меня начинает морить.

Сон подкрадывался незаметно, заволакивал глаза туманом. Я уже начал клевать носом, думая о том, что сейчас допью чай, подброшу дров на ночь — и в кровать. Я встал, потянулся, подошёл к печке. Открыл дверцу. Схватил пару поленьев из ящика.

И замер.

Внутри буржуйки, среди ярко-красных углей, лежал пожелтевший, обгоревший лист бумаги. Он был скручен по краям, от огня уже начал чернеть, но не успел выгореть полностью. Судя по тому, как он лежал — не в глубине, где температура выше, а ближе к дверце, — его положили недавно. Часа два-три назад, не больше.

Я хотел просто сунуть дрова и закрыть. Но что-то заставило меня присмотреться. Краем глаза я зацепился за уголок. За синий цвет. За знакомую форму.

Сердце ёкнуло. Я аккуратным, но быстрым движением — боясь, что бумага рассыплется в пальцах — вытащил лист из печки. Страхнул искры. Захлопнул дверцу, даже не подбросив дрова.

Это были документы «Сириуса». Те самые. Которые Степаныч нашёл в лесу ещё в прошлом году, в том самом кейсе. Которые мы тогда лишь бегло пролистали, но так и не изучили досконально. Я помнил эту бумагу. Помнил шрифт, помнил логотип, помнил эти странные формулировки, от которых у меня тогда побежали мурашки по коже.

И сейчас она лежала в моей руке. Обгоревшая с краёв, но всё ещё читаемая.

— Это что? — спросил я, поворачиваясь к Степанычу.

Мой голос прозвучал крайне требовательно. Даже обвинительно. Я не ожидал от себя такой интонации, но она вырвалась сама.

Степаныч сидел за столом, держал кружку с чаем, смотрел в окно. На меня он даже не взглянул. Только бровь чуть дёрнулась.

— Растопка, — ответил он.

Крайне спокойно. Слишком спокойно. Будто речь шла о том, какой сегодня день недели или что у нас на ужин.

— Растопка? — переспросил я.

Голос стал тише, но от этого не менее опасным. Я сжал бумагу в руке, чувствуя, как внутри закипает что-то тяжёлое, горячее, неконтролируемое.

— Степаныч, ты зачем документы сжёл?!

— А зачем они нам? — он наконец повернул голову и бросил на меня быстрый взгляд. Холодный, равнодушный. И тут же отвёл его обратно к окну. — Ответов на вопросы — как жить дальше и что случилось — там нет. Мы ничего уже не поменяем. А так, меньше знаешь — крепче спишь.

— Ты и спи крепче, — отрезал я.

Я чувствовал, как кровь приливает к лицу. Как пальцы сжимают обгоревший лист так, что он начинает мяться. Я буквально закипал. В груди разгорался пожар, который я не мог и не хотел тушить.

— А я лично хотел почитать, что там. Может, для меня там было что-то важное. Может, я хотел знать правду, даже если от неё не по себе.

Я открыл дверцу буржуйки и швырнул внутрь пару поленьев. Сильнее, чем следовало. Искры вылетели наружу, я даже не обратил внимания.

— А чем мне прикажешь разжигать? — не сдавался комендант. — Твоей писаниной?

В его голосе появились первые нотки раздражения. Но он всё ещё держался. Сидел, не двигаясь, смотрел в окно, будто ничего не происходит.

— В амбаре газеты и коробки, — сказал я, стараясь говорить ровно, хотя внутри всё дрожало. — Жги — не хочу. Там целая куча всего, что горит. Зачем было документы трогать?

— Ой, чего завёлся, — Степаныч поморщился, как от зубной боли. — Я так решил.

И он по-хозяйски стукнул кулаком по столу. Не сильно, но весомо. Так, чтобы я понял: разговор окончен. Вопрос закрыт. Он здесь главный, и ему нечего отчитываться перед каким-то выскочкой, который ещё полгода назад даже печку топить не умел.

Это движение — этот стук кулака по столу — окончательно переключило мой тумблер.

— А я знаешь как решил? — сказал я.

Голос стал тихим. Слишком тихим. Таким голосом обычно говорят перед тем, как сделать что-то непоправимое. Я это понимал. Но остановиться уже не мог.

Происходящее дальше закутало пеленой злости. Я не помню, как повернулся к столу. Не помню, как протянул руку. Не помню, как пальцы сжали книгу.

«Робинзона Крузо».

Ту самую. Которую Степаныч перечитывал в четвёртый раз. Которая лежала на краю стола, заложенная засаленной закладкой где-то в середине.

Я взял её. Не глядя. Просто схватил — и швырнул в буржуйку. Хотел поугатать. Не больше. Даже в этом состоянии, когда разум заволокло туманом ярости, я понимал, как важна для него именно эта книга. И всё равно сделал.

По-детски. По-идиотски.

Но по глупейшему, нелепейшему стечению обстоятельств, которые будто специально сговорились против меня, книга залетела ровно в открытую дверцу. Не в стенку печки. Не мимо. А прямо в топку, на раскалённые угли.

Огонь пополз по уголкам. Бумага — она такая. Страницы, пожелтевшие от времени, сухие, как порох, вспыхнули в одно мгновение.

Я не успел даже опомниться. Рванулся, но было поздно. В этот момент злость улетучилась. Моментально. Словно

кто-то выключил рубильник. В голове стало пусто, в груди — холодно.

Я стоял и смотрел, как горит книга. Как сворачиваются страницы. И не мог пошевелиться.

Степаныч поднялся. Не спеша. Так, как поднимаются люди, у которых больше нет сил на эмоции. Подошёл к печке. Закрыв дверь. Не глядя на меня. Потом повернулся.

Его лицо скривила гримаса. Не злость. Не обида. Что-то другое, чего я раньше у него не видел. Словно ребёнок, у которого отняли любимую игрушку и сломали на глазах. Только хуже. Потому что у ребёнка можно купить новую игрушку. А эту книгу — нет.

— Эту книгу мне подарила дочка, — сказал он тихо. Почти шёпотом. — На день рождения. За десять лет до того, как уехала.

Он помолчал. Сглотнул. Я видел, как дрогнул его кадык.

— Не подходи ко мне больше. Зашибу.

И ушёл. Не дожидаясь моего ответа — которого у меня не было, потому что я просто стоял в ступоре, не в силах вымолвить ни слова. Дверь его комнаты закрылась. Щёлкнула щеколда.

Я остался один.

Стоял, смотрел на закрытую дверцу печки, на обгоревшую бумагу документов, которую всё ещё сжимал в руке. В голове было пусто. Мысли разбежались, как тараканы от света.

Потом оцепенение прошло.

Я рванул к печке. Распахнул дверцу. Не обращая внимания на жар, который ударил в лицо, сунул прихватку и влез внутрь и вытащил книгу.

Обложка была в саже, чёрная, но целая. Края обгорели, некоторые страницы выпали, превратившись в пепел. Я затоптал огонь ногами, прямо на полу, даже не подумав о том, что могу прожечь доски.

Я стоял, держа книгу в руке, глядя на неё, и чувствовал, как внутри всё переворачивается.

Только сейчас ко мне пришло осознание того, что я натворил. Степаныч читал не приключения. Он не перечитывал «Робинзона Крузо» в четвёртый раз, потому что ему нравился сюжет. Он читал память. Он перелистывал страницы, на которых, возможно, остались отпечатки пальцев его дочери. Он вдыхал запах старой бумаги, который пах для него домом.

А я швырнул это в печку.

Я сел на табуретку, положил книгу на стол и долго смотрел на неё. Потом осторожно, стараясь не повредить обгоревшие страницы, начал листать. Некоторые были утеряны навсегда. Некоторые — только наполовину. Я сложил всё,

что осталось, и положил на край стола.

Трогать Степаныча сейчас было бессмысленно. Пытаться говорить — тем более. Я знал его характер. Если он сказал «не подходи» — значит, не подходи. Иначе будет только хуже. Я решил дать ему день. Может, два. Пусть остынет. Придёт в себя.

Этой ночью я ещё долго не мог уснуть. Ворочался в кровати, сбивал одеяло, перекладывал подушку. Вставал несколько раз, чтобы подбросить дров в печку — не потому, что было холодно, а просто чтобы занять руки. Голова гудела от мыслей, которые гнали одна другую, не давая покоя.

Уснул я только под утро. Когда за окном начало сереть, веки наконец-то стали тяжёлыми, и я провалился в темноту без снов.

Проснулся я от того, что было темно. Абсолютно, беспросветно темно. За окном — ни проблеска. Я сначала испугался — подумал, что ослеп или что-то случилось с глазами. Потом глянул на часы. Полседьмого вечера.

До меня дошло: уснув в пять утра, я проспал двенадцать часов. А в конце ноября в лесу темнеет рано. Очень рано. В четыре часа уже хоть глаз выколи. И сейчас, когда я открыл глаза, солнце давно село, и мир за окном превратился в чёрную стену.

Степаныч не разбудил меня.

С осознанием этого факта я сел на кровати. Потёр лицо. И сразу вспомнил всё. Вчерашний вечер. Книгу. Его лицо.

Его голос.

Я вышел из комнаты. На кухне горела масляная лампа, и при её тусклом свете я увидел Степаныча. Он сидел за столом, перед ним стояла тарелка с недоеденной кашей и кружка чая. Он ужинал.

Я сделал шаг в его сторону. Открыл рот, чтобы заговорить.

И в этот момент он поднял голову. Наши взгляды пересеклись — на секунду, не больше. Его глаза были пустыми. Не злыми, не обиженными — пустыми. Будто меня там не было. Будто я — пустое место.

Он демонстративно поднялся, взял тарелку, отнёс в кухонной раковине, вылил остатки каши в ведро для отходов. Не глядя на меня. Не сказав ни слова. И ушёл в свою комнату.

Дверь закрылась. Щеколда не щёлкнула — он оставил её приоткрытой. Но это не было приглашением. Это было: «Я не запираюсь, но и разговаривать не собираюсь».

— Фифа какая обидчивая, — буркнул я себе под нос.

Но внутри понимал: дело не в обиде. Дело в боли. Которую я причинил. И которую нельзя заклеить извинениями.

Желание заговорить снова пропало. Я понял, что сейчас любое моё слово будет лишним. Любое «прости» прозвучит фальшиво. Нужно время. Много времени.

Так начался наш взаимный обед молчания.

Я перестроил свой день. Перешёл на ночной образ жизни. Спал днём, когда Степаныч был на кухне или работал во дворе. Вставал к вечеру, когда он уже ложился. Мы жили в одном доме, в двух шагах друг от друга, но практически не пересекались.

Нет, мы по-прежнему понимали, что по одиночке не выжить. Это было выше наших обид. Я колол дрова — молча, сосредоточенно, стараясь не думать о том, что происходит у меня за спиной. Степаныч чистил снег — тоже молча, тоже сосредоточенно. Мы делали свою работу, каждый свою, но синхронно, как отлаженный механизм.

Я таскал лёд. Это была моя обязанность, и я от неё не отлынивал. Спуск к реке — туда, где мы прорубили лунку — был скользким и крутым. Ещё осенью, когда только начались холода, уровень воды в реке упал, и берег оголился. Теперь, чтобы добраться до воды, нужно было спускаться по почти отвесному склону, цепляясь за корни и торчащие камни. Степаныч физически не мог этого делать — возраст, бо́льшая спина, да и координация уже не та. Один неверный шаг — и всё, приехали. Перелом, а то и хуже.

Поэтому лёд носил я. И носил много. По несколько ходок в день, чтобы хватило на всех. Вёдра с грохочущими кусками льда оттягивали руки, спина ныла, ноги скользили, но я делал это. Не для себя — для нас.

Понимание того, что мы можем не говорить, но друг без друга нам не выжить, никуда не делось. Оно висело в возду-

хе, как запах дыма от буржуйки. Мы оба это чувствовали. Но ни один не делал первого шага.

Я ложился спать, когда Степаныч просыпался. Он вставал к завтраку — я уже досматривал свои тяжёлые, безрадостные сны. Мы ели из одной кастрюли, пили из одного чайника, грелись у одной печки. Но между нами была стена.

Не та, которую мы строили из брёвен. А та, которую я построил сам.

И разрушить её мог только я. Но для этого нужно было найти слова. А слов не было.

Их просто не было.

Так мы и продолжили жить. Даже не так — существовать. По соседству. В одном доме, за одним столом, у одной печки, но при этом за тысячи километров друг от друга.

Тот месяц молчания мне казался годом одиночества. Вы не представляете, что это такое — находиться рядом с человеком, которого ты уважаешь, который стал тебе почти отцом, и не иметь возможности сказать ему даже «доброе утро». Мы передвигались по дому, как две тени. Я слышал его шаги в коридоре, слышал, как он кашляет по утрам, как открывает дверцу буржуйки, чтобы подбросить дров. И молчал. Он молчал.

Я перебирал в голове слова, которые мог бы сказать. Тысячи раз я прокручивал этот разговор, придумывал фразы, оттачивал формулировки. «Прости, я дурак». «Я не хотел». «Та книга была тебе дороже, чем я понимал». Но всё это зву-

чало фальшиво. Мелко. Недостаточно.

Как перешагнуть через себя — я не знал. Но дальше жить так было невозможно. Эта тишина убивала быстрее, чем любой мороз. И я решил: завтра поговорю с этим упрямым де-дом. Осталось только обдумать, какие слова подобрать.

Весь вечер я был загнанным в свои мысли. Сидел у печки, смотрел на огонь, но не видел его. Ворочал в голове фразы, отбрасывал, начинал заново. Степаныч уже ушёл к себе — я слышал, как скрипнула дверь его комнаты, как он прошлёпал до кровати, как кряхтел, укладываясь.

Я подождал ещё час. Может, два. Потом понял, что не усну. Встал, натянул штаны, вышел на кухню.

Чай. Чай всегда помогал. Горячий, травяной, с мёдом, который мы берегли на особый случай. Я решил, что сегодня как раз тот самый особый случай. Нашёл кружку, зачерпнул кипятку из ведра, которое всегда стояло на печке.

Но алюминиевый черпак лишь глухо стукнул по дну. Пусто. Я замер. Потрогал ведро рукой — оно было сухим. Холодным. Судя по всему, вода кончилась давно. Может, вчера. Может, ещё раньше. А я даже не заметил. Потому что мы не разговаривали. Потому что он не сказал мне: «Воды нет, надо бы сходить». А я не спросил: «Что у нас с водой?»

Я стоял, сжимая черпак в руке, и чувствовал, как внутри поднимается что-то липкое, тяжёлое. Не злость. Стыд.

Степаныч, не попросил помощи. Не напомнил. А я — я спал днём, потому что перешёл на ночной образ жизни, лишь

бы не пересекаться. И пропустил тот момент, когда вода кончилась.

Я тяжело выдохнул. Поставил черпак на место. Достал фонарик, накинул куртку, натянул сапоги. Взял топор, ружьё — на всякий случай, волки в последнее время активизировались, их вой слышался всё ближе к дому. И два пустых ведра.

Долбить лёд в темноте мне категорически не хотелось. Вы просто не представляете, что это такое — стоять на скользком берегу, при свете тусклого фонарика, бить топором по льду и не знать, не треснет ли он под твоими ногами. А вокруг — темень, лес, вой. Но выбора не было. Хотелось пить. Не чай — просто пить. Вода кончилась, и это было не обсуждаемо.

Стоило мне открыть дверь, как её тут же пригвоздил к стене порыв холодного ветра. Такого резкого, злого, будто сама зима решила напомнить, кто здесь главный. Я вцепился в ручку, чтобы дверь не вырвало, прижал её плечом, выскользнул наружу.

Натянул шарф на лицо — до самых глаз. Согнулся, втянул голову в плечи, словно это могло защитить от ветра. Бесполезно. Холод пробирался под куртку, под свитер, под термобельё, добирался до самого нутра и сворачивался там колючим клубком.

Я поморщился и шагнул наружу. Снег продолжал валить. Не абы как, а прямо в лицо. Крупный, злой, липкий. Он забивался под шарф, таял на коже и тут же замерзал, обжигая.

Я шурился, но спасало это слабо. Пришлось идти почти на ощупь, выставив руку с фонариком вперёд, будто слепой с тростью.

До реки идти всего ничего. Метров двадцать-тридцать, не больше. В обычный день я преодолевал это расстояние за пару минут, даже не задумываясь. Но сейчас эти двадцать метров растянулись в бесконечность.

Пурга пыталась свалить меня с ног. Ветер дул то в лицо, то в бок, то откуда-то снизу, будто издевался. Я проваливался в сугробы по пояс — там, где вчера была ровная тропинка, сегодня выросла стена снега. Выдирал ноги, делал шаг, проваливался снова. Дышал тяжело, с хрипом. Пар изо рта вырывался клубами и тут же уносился в темноту.

Я проделывал неимоверные усилия над собой, прежде чем добрался до реки. Как правильно долбить лёд — я не знал. Честно. Я не учился этому ни в школе, ни в техникуме, ни в той прошлой жизни, где вода текла из крана и стоило просто повернуть ручку. Поэтому я придерживался своей тактики. Да, возможно, неправильной. Возможно, глупой. Но другой у меня не было.

Я пытался пробить лёд в одном и том же месте. Снова и снова. Каждый день. Думал, что если сделать лунку поглубже и пошире, она перестанет замерзать. Но сколько бы я ни работал топориком — а работал я им от души, вкладывая в каждый удар всю свою злость и отчаяние, — всё это замерзало за ночь.

Я приходил утром — а лунка покрыта свежей коркой. Тонкой, но крепкой. И всё начиналось заново. Топор, лёд, брызги, снова топор. Бесконечный цикл.

Сейчас я скатился с пригорка к реке — точнее, съехал на заднице, потому что идти было уже невозможно, ноги разъезжались — и начал стучать инструментом под аккомпанемент волчьего воя.

Он доносился со всех сторон. Слева, справа, из-за леса, где-то вдалеке за рекой. Волки перекликались, и этот звук разрывал ночную тишину на куски. Но я не боялся. За время жизни здесь он превратился в нечто привычное. Фоновый шум. Как шум прибоя, только лесной.

Я был уверен, что я чувю их, а они чувю меня. Мы держали некий паритет. Негласное соглашение: вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Пока оно работало. Волки держались на расстоянии, не приближались к дому, не кружили у забора. Может, их отпугивал огонь. Может, запах человека. Может, просто не сезон. Я не знал и не хотел знать.

Стучал топором, слушал волков и думал.

Думал о том, какие слова подобрать, чтобы заговорить завтра со Степанычем. Может, начать издалека? Может, просто подойти и сказать: «Степаныч, я дурак»? Может, поставить чайник и молча налить ему кружку? Жест — он тоже слово. Иногда даже громче.

Я прокручивал варианты, примерял их, как одежду, и отбрасывал. Всё не то. Всё не так.

Мои мысли разрушились вместе со льдом под ногами.
Хруст.

Я услышал его даже сквозь вой ветра. Сначала тонкий, едва уловимый, будто кто-то прошёлся по тонкому стеклу. А потом — громкий, раскатистый, неумолимый.

Мгновение — и я падаю.

Ноги уходят вниз, в ледяную чёрную воду. Я вцепляюсь руками за края льда, пальцы скользят по мокрой поверхности, ногти царапают лёд. Я оказался в воде по шею. Холод такой, что не вздохнуть. Лёгкие сжимаются, сердце пропускает удар.

Течение под толстой коркой льда оказалось внушительным. Я не ожидал. Река казалась спокойной, застывшей, мёртвой. Но под этим панцирем вода жила своей жизнью. Она неслась, толкала меня, пыталась утащить под лёд. Я чувствовал, как меня засасывает, как край льда упирается мне в подбородок, как вода заливается в рукава, под куртку, за шиворот.

От шока не было сил ни кричать, ни стараться выбраться. Просто висел, вцепившись в лёд, и смотрел, как тает темнота перед глазами.

Я чувствовал, как силы начали покидать меня. Пальцы разжимались. Не потому, что я хотел их разжать — они просто перестали слушаться. Холод сделал своё дело. Руки немели, превращались в куски льда, которые больше не могли держать.

— Держись!

Голос пробился сквозь шум в ушах, сквозь вой ветра, сквозь панику, которая накрывала меня с головой. Я не сразу понял, кто это. Не сразу узнал интонацию.

А потом увидел.

Степаныч кубарем скатился с пригорка — я даже не понял, как он там оказался, откуда узнал, что я в беде. Он просто возник из темноты, как привидение. Скатился, кувыркнулся, но вскочил на ноги, словно неваляшка — та самая игрушка из детства, которую как ни толкни, она всегда возвращается в вертикальное положение.

Он, недолго думая, схватил ружьё. То самое, которое я оставил на берегу вместе с вёдрами. Сбросил его с плеча, перехватил за ствол, протянул мне приклад.

И принялся ползти ко мне.

По льду. На животе. Расталкивая снег перед собой. Кряхтя, матерясь сквозь зубы, но полз. Потому что другого способа не было. Лёд трещал под ним, но держал — может, потому что он легче, может, потому что распластался, распределив вес.

Как только он оказался рядом — а это заняло, наверное, вечность, хотя на деле прошло не больше минуты, — я перехватился. Обхватил приклад мёртвой хваткой, чувствуя, как дерево врезается в ладони.

Сил почти не осталось. Но страх отпустил. Потому что рядом был он.

Степаныч тянул. Медленно, плавно, без рывков — чтобы не провалиться самому, чтобы не оборвать мою хватку. Я выползал на лёд, скользил, цеплялся, снова скользил. Но с каждым сантиметром становилось легче.



Он вытащил меня. Поставил на ноги — они тряслись, подкашивались, не держали. Я стоял как новорождённый жеребёнок, готовый рухнуть в любую секунду.

А Степаныч, не раздумывая, прихватил меня. Забросил на плечо — как мешок с картошкой. И понёс.

В сторожку.

Попутно он ругал меня. О, как он ругал! Я не запомнил слов — они расплывались в голове эхом, смешивались с шумом ветра и стуком крови в висках. Но интонацию запомнил. Это была не злость. Это был страх. За меня.

— ... совсем петрушка?! — долетело до меня обрывком.
— ...на хер ночью... — ещё один обрывок. — ...забыл, как вода... — и снова ветер заглушал.

Тело трясло. Мелко, противно, неконтролируемо. Зубы выбивали дробь, я не мог их остановить. Вода с куртки стекала на снег, оставляя тёмные пятна, которые тут же заметало.

Как только мы зашли в тепло, Степаныч накидал в буржуйку дров. Целую охапку. Распахнул заслонку, поддал воздуху — пламя взметнулось, загудело, застрекотало. Он подавал жару так, что в сторожке стало как в бане. Жарко, душно, парно.

Потом помог мне раздеться. Руки не слушались, пугови-

цы не поддавались — он, чертыхаясь, стаскивал с меня промёрзшую одежду, сдирал её, как кожуру с апельсина. Натирал сухим полотенцем — жёстко, интенсивно, чтобы разогнать кровь.

— Шевели пальцами, — командовал он. — Давай, шевели, я сказал!

Я шевелил. Не потому, что мог — потому что он сказал. Потом он нарядил меня как луковицу. В десять слоёв тёплой одежды. Сначала футболка, потом термобельё, потом свитер, потом ещё один свитер, потом куртка. Я сидел, растопырив руки, и позволял себя одевать, как маленького. И всучил в руки кружку чая. Горячего, крепкого.

— Пей, — приказал он.

Я пил. Обжигался, но пил.

Через минут десять мне стало лучше. Я снова начал чувствовать своё тело. Сначала руки — они горели, когда отходили от холода, но это было хорошее горение. Потом ноги — пальцы на ногах зашевелились. Потом спина перестала быть одним сплошным куском льда.

Я сидел у печки, закутанный в одеяло, и смотрел, как огонь пляшет за дверцей.

— На кой хер ты попёрся ночью на реку? — спросил Степаныч.

Он стоял напротив, скрестив руки на груди. Лицо хмурое, брови сведены к переносице. Но в голосе чувствовалась не злость. Скорее забота. Такая, которую он всегда прятал за ворчанием, а сейчас не смог.

— Ты совсем петрушка, что ли?

— Воды нам хотел добыть, — пробормотал я. — Воды нет.

Голос прозвучал слабо, виновато.

— У амбара два ведра льда стоят, — сказал Степаныч. — Я днём набил.

— Я не знал.

Мы замолчали. Я смотрел в кружку, он — на меня. Тишина была тяжёлой, но уже не той, что раньше. В ней не было обиды. Было что-то другое. Облегчение, наверное.

Сидели, слушали огонь. Потрескивали дрова, постукивал металл печки, где-то за окном выл ветер.

Степаныч рассказал — нехотя, как бы между делом, — что услышал, как я долго одевался. Как понял, что я куда-то собрался. Как почуял неладное — у него, знаете, чутьё на

такие вещи, годы службы не проходят даром. Как пошёл следом, на всякий случай. И как оказалось — не зря.

Он не сказал «я испугался». Не сказал «я боялся, что ты утонешь». Но я и так это понял. По тому, как дрожали его руки, когда он заваривал чай. По тому, как он смотрел на меня, пока я пил.

— Ладно, — сказал он наконец, выпрямляясь. — Грейся. Я спать.

Он уже повернулся к двери, когда я выдавил из себя:

— Степаныч...

Он остановился. Не обернулся.

— Спасибо. Ты мне жизнь спас.

Слова прозвучали глухо, скомканно. Не так, как я хотел. Но лучше, чем ничего.

— На здоровье, — ответил он.

И усмехнулся. Коротко, по-своему, кривовато. Но это была улыбка.

— И вот ещё что, — добавил он, уже открывая дверь в свою комнату. — Завтра отлеживайся. А с послезавтра давай-ка снова по утрам вставай. Мне помощь тут днём нужна.

Дверь закрылась. Я остался один. Сидел, закутанный в одеяло, с кружкой чая в руках, и смотрел на огонь.

На моём лице застыла улыбка. Глупая, кривая, но искренняя.

Случай исправил то, что я не смог сделать сам. Ледяная вода, страх, топор, который выпадал из рук, — и вот они, нужные слова, наконец-то сказаны. Не те, что я придумывал весь вечер. Не красивые, не правильные. Простые. Настоящие.

Можно ли считать, что обед молчания был прекращён?

Пожалуй, что да.

К моему огромному удивлению, я не заболел. Ни температуры, ни кашля, ни насморка. Организм, который я считал изнеженным городским существом, вдруг показал себя с неожиданной стороны. Может, закалка. Может, просто повезло.

Отлежавшись день — а отлёживался я с удовольствием, потому что тело гудело, а мышцы болели так, будто я не в прорубь упал, а пробежал марафон, — мы вновь вернулись к нашей размеренной и трудной зимовке.

Я снова вставал по утрам. Снова колол дрова. Снова таскал лёд — теперь только днём, и только когда Степаныч был

рядом. На всякий случай.

Мы снова разговаривали. Сначала о делах — о воде, о дровах, о запасах. Потом о погоде. Потом — ни о чём. Просто так, чтобы слышать голос друг друга.

Молчание кончилось. И мир стал чуть теплее.

Даже в феврале. Даже в лесу. Даже когда за окном минус тридцать.

Глава 3. Новый год

Близился первый Новый год нашего нового мира.

Странно это осознавать — «новый мир». Раньше Новый год был просто датой, поводом выпить шампанского, посмотреть «Иронию судьбы» и загадать желание, которое, как ты заранее знаешь, не сбудется. А тут... тут это был рубеж. Черта. Мы дожили. Мы выжили. И это само по себе уже было чудом, без всяких ёлок и подарков.

К концу декабря погода решила сделать нам щедрый подарок. Серьёзно, я до сих пор не знаю, кому за это спасибо сказать — может, лесному духу, может, просто атмосферному фронту, но факт остаётся фактом: снег перестал падать.

Не то чтобы он растаял — нет, куда там. Сугробы остались по пояс, а где-то и выше. Но хотя бы перестало сыпать сверху. И это лишило нас того «удовольствия», которое уже въелось в печёнки — постоянной уборки территории. Теперь не нужно было каждое утро выходить с лопатой и расчищать

одно и то же место, чтобы к вечеру увидеть его снова белым. Красота.

А температура, если верить старенькому термометру, который Степаныч прилепил снаружи у окна, замерла на отметке: -7.

Я был склонен этому верить, потому что на улице действительно стало тепло. Ну, как тепло — для декабря, да ещё в лесу, это было настоящим летом. Я перестал надевать под куртку два свитера и термобельё. Прекратились постоянные метели, которые по ночам завывали так, что казалось, будто кто-то плачет за стеной. Установилась тихая, морозная, почти уютная погода.

Даже по дрова я ходил в спортивном костюме, валенках и тулупе. Без термобелья! Без этих облегающих тряпок, от которых сначала потеешь, а потом мёрзнешь в собственном соку. Просто надел штаны, накинул куртку и вперёд. Солнце светило, снег искрился, настроение поднималось само собой.

Мы по-прежнему уделяли особое внимание теплу и сухости. И дома, и в одежде. Степаныч долбил эту мысль, как гвоздь: «Болезнь — нельзя!» И он был прав. В нашем случае любая, даже самая банальная болячка могла стать фатальной. Насморк? Пожалуйста, вот тебе воспаление лёгких, потому что антибиотиков нет, а печка не скорая помощь. Температура? Добро пожаловать в бред, из которого можно не вернуться.

Поэтому мы парились. Каждый вечер я натирал ноги барсучьим жиром — Степаныч где-то раздобыл банку, сказал, что старый знакомый из охотников подарил когда-то очень давно. Пахло это дело так, что я чуть не задохнулся в первый раз. Но привык. Ко всему привыкаешь.

Сушили варежки на печке. Просушивали валенки, набивая их газетами — газеты мы берегли, потому что они годились и на растопку, и на сушку, и на туалет, если уж совсем честно. Следили, чтобы в углах не скапливалась сырость, чтобы дымоход не забивался, чтобы в щели не дуло.

Короче, вели себя как два старых деда, которые всю жизнь только и делали, что готовились к зиме. Хотя ещё полгода назад я понятия не имел, что такое «законопатить щели паклей».

В один из таких же чудесных дней — солнечных, тихих, почти безветренных, я сидел у костра во дворе и писал. Блокнот лежал на коленях, карандаш прыгал по бумаге, я пытался описать нашу жизнь, наши страхи, нашу надежду. Получалось, как всегда, коряво, зато честно.

И тут боковым зрением я увидел какое-то странное движение.

Сначала мне показалось, что по опушке леса крадётся леший. Вы знаете, в сумерках, когда солнце уже садится и тени становятся длинными, лес оживает. Каждый куст кажется человеком, каждая коряга — зверем. А тут ещё этот силуэт — сгорбленный, несущий что-то большое и пушистое.

Я присмотрелся. Протёр глаза.

Это был не леший. Это был наш комендант.

Степаныч шёл от леса к дому, неся на плече небольшую, но очень красивую елочку. Пушистую, зелёную, с густыми лапами, которые подметали снег за его спиной. Он нёс её так, будто всю жизнь только этим и занимался — таскал ёлки из леса. Покряхтывал, перехватывал поудобнее, но нёс.

Я отложил блокнот. Открыл рот. Закрыл.

— Степаныч, — позвал я, когда он поравнялся со мной.
— На кой?

Голос мой прозвучал глупо. Я даже сам это услышал. Но я реально не понял, зачем нам ёлка. Мы в лесу. Вокруг нас — тысячи ёлок. Зачем тащить ещё одну?

Он остановился, перекинул дерево на другое плечо и посмотрел на меня так, будто я спросил, зачем нужно дышать.

— На Новый год, — буркнул он.

И пошёл дальше, не дожидаясь моей реакции.

Я остался сидеть с открытым ртом. На Новый год? Ёлка? Мы что, в детский сад вернулись? Или он решил устроить праздник для нас двоих посреди лесной глуши, где единственные зрители — волки и снегири?

Степаныч положил ёлочку в снег — аккуратно, бережно,

будто она была стеклянной — и растворился в недрах амбара. Я слышал, как он там гремит, что-то перекладывает, матерится себе под нос. Через пару минут он вышел с двумя какими-то дряхлыми дощечками.

Он присел на корточки прямо в снег — я хотел сказать, что простудится, но промолчал, потому что спорить с комендантом в таком состоянии было бесполезно — и начал сколачивать одну дощечку с другой. Гвозди у него были припасены, молоток нашёлся тут же. Он работал быстро, сосредоточенно, будто не крестовину для ёлки мастерил, а бомбу собирал.

Потом сделал в верхней дощечке углубление — чем, я не разглядел, может, ножом, может, стамеской — и гордо водрузил ёлочку в своё творение. Дерево стояло ровно, не падало, не кренилось. Хорошая работа, ничего не скажешь.

Но и это было ещё не всё.

Степаныч на полном серьёзе принялся наряжать её, не обращая ни малейшего внимания на мой взгляд. Я сидел, округлив глаза, и наблюдал, как старый ворчун, который ещё месяц назад не мог двух слов связать без мата, развешивает на ёлку рыбацкие блёсна.

Серьёзно. Блёсна!

Он достал их из какой-то коробки — я даже не знал, что у нас есть коробка с блёснами, — и начал цеплять их на ветки. Крючками. Аккуратно, чтобы не повредить кору. Блёсна были разного размера и цвета: серебряные, золотистые,

какие-то с красными вкраплениями. Они свисали с веток, поблёскивали на солнце, переливались, как маленькие зеркала.

Потом он принёс верёвку. Обычную бечёвку, которую мы использовали для хозяйственных нужд. Начал обматывать ей ёлку, пытаясь сделать подобие гирлянды. Получалось, честно говоря, так себе. Верёвка висела криво, сползала, не держалась.

Степаныч отошёл назад, прищурился, покачал головой.

— Нет, — сказал он сам себе. — Не то.

Снял верёвку. Отбросил в сторону. Покрутил блёсна, поправил их, кое-что перевесил повыше, кое-что — пониже. Периодически отходил назад, смотрел на своё творение, что-то поправлял и бормотал себе под нос. Я не разбирал слов, но интонация была серьёзная. Как у художника перед мольбертом.

Я сидел, смотрел на это представление и не знал, смеяться мне или плакать. С одной стороны, это было умирительно. Старик посреди леса, в разгар зимы, наряжает ёлку рыболовными снастями. С другой стороны... ну, блёсна? Серьёзно? Мы что, рыбу собираемся приманивать на Новый год?

Но я молчал. Потому что видел, как он это делает. С какой любовью. С какой тщательностью. Он не просто вешал железки на ветки — он создавал что-то своё. То, что заме-

няло ему игрушки, гирлянды, всю ту новогоднюю мишуру, которая осталась в той, прошлой жизни.

— Ну как? — спросил он наконец, закончив.

Голос был немного виноватым. Как у ребёнка, который принёс из школы поделку и боится, что родители не оценят. Он смотрел на ёлку, потом на меня, потом снова на ёлку. Ждал.

Я посмотрел на его творение. Блёсна висели кривовато, но ярко переливались на солнце. Ветки были пушистые, зелёные, пахли хвоей. Ёлка стояла ровно, гордо, как солдат на посту.

— Если мы в новогоднюю ночь ждём бородатого караса или карпа, — сказал я, качая головой, — то прям оно.

Мы переглянулись.

И рассмеялись.

Сначала я, потом он. Сначала тихо, потом громче, потом уже в голос, так, что, наверное, по всему лесу было слышно. Смеялись над ёлкой, над блёснами, над тем, как мы дожили до такой жизни, что украшаем ёлку рыболовными снастями.

Когда мы успокоились, Степаныч вытер глаза — то ли от смеха, то ли от нахлынувших чувств — и начал рассказывать.

— Елочка на Новый год — традиция, — сказал он. — Я её никогда не нарушал. Даже когда один был. Даже когда на службе в канун праздника приходилось сутки через сутки пахать. Всё равно ставил.

Он помолчал, глядя на ёлку.

— В квартире у меня маленькая искусственная осталась. И коробка игрушек. И гирлянда. Старая, ещё советская, лампочки в ней половина перегорели, но я каждый год включал. Для настроения.

Он вздохнул.

— А тут... тут ничего нет. Поэтому пришлось импровизировать.

— Блёсна — это импровизация? — уточнил я.

— А что? — он даже как будто обиделся. — Крепятся хорошо, крючком за ветку — и готово. И переливаются на солнце. Чем не игрушка?

Я не стал спорить. Потому что он был прав. Блёсна и правда красиво сияли, не хуже ёлочных шаров, а может, даже лучше — потому что свои, не магазинные, не безликие. С историей. Каждая блесна, наверное, помнила какую-нибудь

рыбу, которая на неё попалась.

А вот верёвка, которую он пытался приспособить под гирлянду, оказалась лишней. Степаныч сам это признал, снял её, отбросил в сторону.

— На гирлянду она ну никак не тянет, — сказал он. — Так что пусть будет просто ёлка. Без огней. Тоже хорошо.

Я кивнул. Не стал говорить, что огней у нас всё равно нет — лампочки перегорели, а новых не купить. Зачем портить человеку праздник? Я же, в отличие от Степаныча, ждал Новый год по другой причине. Не из-за традиций. Не из-за ёлки. А из-за еды.

С начала холодов мы начали активно подъедать наши запасы. Крупы, макароны, консервы — всё это таяло с ужасающей скоростью. Я смотрел на полки в погребе и не узнавал их. Ещё месяц назад они ломились от банок, а теперь... теперь на них появлялись пустоты. Как в старой челюсти, из которой повыпадали зубы.

Но самое главное — консервы. Тушёнка, сгущёнка, паштет, рыбные консервы. Они были нашей драгоценностью, нашей страховкой, нашей надеждой на то, что мы не умрём с голоду, если рыба перестанет ловиться, а грибы закончатся.

И Степаныч разделил их на две категории: обычные и праздничные.

Обычные мы ели по будням. По чуть-чуть, растягивая удовольствие. Праздничные — те, что получше, пожирнее, с красивыми этикетками — стояли отдельно. Их трогать запрещалось под страхом смерти.

— Это на Новый год, — говорил Степаныч, когда я заглядывался на банку с говяжьей тушёнкой, на которой была наклейка с золотой каёмкой. — Не трожь.

И я не трогал. Потому что понимал: Новый год без праздничной еды — это просто ещё один день. А с праздничной — это событие. Это напоминание о том, что мы люди. Что мы помним. Что мы не скатились в животное существование, где единственная цель — дожить до утра.

И вот, за пару дней до праздника, комендант сделал важное объявление. Он сидел за столом, пил чай, смотрел на меня поверх кружки. Потом поставил кружку, сложил руки на груди и сказал:

— Слушай сюда. За новогодний стол отвечаешь ты.

Я поперхнулся. Чай пошёл не в то горло, я закашлялся, замахал руками. Степаныч смотрел на это представление с каменным лицом.

— Ты чего? — выдавил я, откашлявшись. — Почему я?

— Потому что я готовил почти всё лето и осень, — ответил он. — А ты только жрал. Теперь твоя очередь.

— Но я...

— Никаких «но». — Он поднял палец. — Полный карт-бланш. Бери любые консервы из праздничных. Любые крупы. Любые припасы. Всё, что найдёшь. Готовь что хочешь. Но — внимание — важное условие.

Я замер. Серьёзное лицо Степаныча не предвещало ничего хорошего. Может, он скажет, что я должен приготовить ужин на десять персон? Или что-то из ресторанной кухни, о чём я понятия не имею?

— Мы должны съесть приготовленное за один раз, — сказал он. — Всё. Никаких остатков. Потому что Новый год — он один в году. И праздник должен быть настоящим.

Я смотрел на него и чувствовал, как на моём лице расплывается глупая, широкая улыбка. Карт-бланш! Праздничные консервы! Любые!

У меня, наверное, так засияли глаза, что Степанычу стало не по себе. Он даже отодвинулся на всякий случай.

— Только без фанатизма, — добавил он вдогонку. — Чтобы не лопнуть.

— Степаныч, — сказал я, вставая. — Ты даже не пред-

ставляешь, что я сейчас устрою.

— Боюсь представить, — вздохнул он. Но в глазах у него плясали смешинки.

Я просидел в погребке, наверное, с час. Может, больше. Степаныч даже заглядывал пару раз — не провалился ли я в тартарары, не замерз ли, не решил ли съесть всё прямо там, в темноте, обложившись банками как барсук припасами. Но я был в порядке. Я был в состоянии глубочайшей кулинарной эйфории.

Передо мной на полке стояло то самое богатство, которое Степаныч окрестил «праздничным». Тушёнка, да не простая, а с золотой наклейкой, где жирный бык смотрел на меня с такой гордостью, будто сам вызвался на убой. Сгущёнка — сине-белая банка, такая знакомая, что у меня аж сердце ёкнуло. Паштет куриный, который я не то чтобы любил в прошлой жизни, но сейчас готов был целовать. Банка сайры в масле — драгоценность, потому что сайра, это вам не килька. Килька в томате — тоже святое, но на закуску. И ещё какие-то мелочи: маринованные огурцы из запасов Ивановны, я их берёг как зеницу ока, потому что нормальных солений у нас больше не было, банка зелёного горошка, кукуруза.

Я перебирал это богатство, прикидывал, и у меня в голове само собой складывалось меню.

Во-первых, салат. Какой Новый год без салата? Оливье, конечно, у нас не получится — где ж я возьму колбасу и май-

онез? Но я решил сделать «лесной вариант»: варёная картошка, яйца, наша вяленая рыба, вместо колбасы, да, звучит дико, но попробовать стоило, маринованный огурец, зелёный горошек. Заправлять решил смесью масла и уксуса, потому что майонеза у нас не было и быть не могло. Степаныч, когда узнал про этот эксперимент, только рукой махнул: «Делай, что хочешь. Всё равно сожру».

Во-вторых, горячее. Тут без вариантов — тушёнка. Но не просто так разогреть и навалить в тарелку. Я решил сделать подобие жаркого. Остатки мягкой, едва живой картошки, жухлый, промерзший, но не пропавший лук, тушёнка. Всё это томилось в котелке на печке. Запах стоял такой, что у меня слюнки текли за два часа до ужина. Степаныч кругами ходил вокруг буржуйки, принюхивался, но ничего не говорил. Ждал.

В-третьих, закуски. Килька в томате на хлебе — классика. Паштет — тоже на хлебе. Я испек лепешки из муки и воды. В прошлой жизни я бы такое даже пробовать не стал. Сейчас мне казалось, что я готовлю блюдо для ресторана с мишленовской звездой.

Ну и десерт. Сгущёнка. Просто сгущёнка. Ложкой. Из банки. Потому что Новый год — это когда можно делать то, что нельзя в обычной жизни. А в обычной жизни мы сгущёнку берегли и расходовали по чайной ложке на чай.

Я уже всё распределил, разложил, приготовил, когда Степаныч подошёл к столу. Сел на своё место, кряхтя, как ста-

рый воробей. Осмотрел мои кулинарные изыски. Кивнул. Потом зачем-то полез под стол.

— Ты чего? — спросил я.

Он не ответил. Шуршал, кряхтел, матерился. Потом вылез обратно с каким-то свёртком. Старая тряпица, перевязанная верёвкой. Небольшой, граммов на триста, не больше.

Он положил свёрток на стол. Посмотрел на меня. Я на него.

— Это что?

Он развязал верёвку. Развернул тряпицу.

Банка.

Маленькая, жестяная, с красной этикеткой. Я не сразу понял, что это. А когда понял, у меня, кажется, отвисла челюсть.

— Это... — начал я.

— Икра, — сказал Степаныч. — Красная. Лососёвая.

Он говорил это так буднично, будто не икру достал из-под стола посреди лесной глуши, а хлеб из хлебницы. Будто это не сокровище, не артефакт, не привет из той жизни, где люди ели икру на Новый год и даже не задумывались, как

им повезло.

— Откуда?! — выдохнул я.

— В закромах лежала, — ответил Степаныч, пожимая плечами. — Припрятал.

— Зачем?

Он посмотрел на меня. Усмехнулся.

— А ты как думаешь? Чтобы ты не сожрал раньше времени.

Я открыл рот. Закрыл. Снова открыл.

— Степаныч, я похож на человека, который сожрёт красную икру втихаря в погребе, обложившись банками с тушёнкой?!

— Похож, — сказал он без тени сомнения. — Очень похож.

Я хотел обидеться. Правда, хотел. Но не смог. Потому что в глубине души... ну, ладно, может, был бы похож. Если бы знал, что икра существует. Наверное.

— Давно она у тебя? — спросил я.

— С прошлого года, — ответил он. — Ещё из той жизни.

Купил на распродаже в супермаркете. Думал, к празднику откроем. А потом... ну, сам знаешь.

Он замолчал. Покрутил банку в руках. Посмотрел на этикетку, будто вспоминал что-то.

— Вез её с собой, когда собирался. В рюкзак положил. Думал, пригодится. А потом — то стройка, то забор, то всё это... Я её и забыл.

— Забыл? — переспросил я. — Красную икру? Забыл?

— Ну, забыл, — сказал он с вызовом. — Бывает.

Я смотрел на него и не верил. Человек, который пересчитывал банки с тушёной раз в неделю, который знал, сколько у нас крупы, соли, спичек, — забыл про красную икру. Да ну. Он её прятал. Специально. Чтобы я не выпросил, не выклянчил, не съел под настроение после тяжёлого дня.

— Ты её зашкерил, — сказал я. — Признайся. Зашкерил, чтобы я не сожрал.

— Не знаю такого слова, — отрезал Степаныч, но его уши покраснели. Покраснели! Комендант покраснел!

— Зашкерил, — повторил я с чувством глубокого удовлетворения. — Прятал как бурундук. Под столом. В тряпочке.

— Не твоё дело, — буркнул он. — Открывай уже. Надо попробовать, не испортилась ли.

Я взял нож, открыл банку. Аккуратно, чтобы не порезаться — в темноте погреба, когда я её перебирал, мне показалось, что он выронил что-то, я принялся. Нет. Нормально. Икра как икра. Красная, рассыпчатая, маслянисто блестит.

Я поставил банку на стол. Мы оба уставились на неё.

— С чем её есть? — спросил я растерянно.

— С чем хотят, с тем и едят, — ответил Степаныч. — Раньше с маслом на белый хлеб мазали. А теперь... теперь у нас лепёшка есть.

Он встал, намазал на один кусок тонкий слой икры — аккуратно, будто золотом покрывал.

Протянул мне.

— Давай. Первый раз в новом мире. Красная икра.

Я взял. Откусил.

Закрыв глаза.

Это было небо. Это была та прошлая жизнь, где пахло мандаринами и ёлкой, где по телевизору показывали «Иронию судьбы», а за окном — не волчий вой, а салюты. Это была память, которая вернулась ко мне через вкус соли и масла, через лопающиеся на зубах икринки.

— Хорошо, — сказал я.

— Хорошо, — кивнул Степаныч.

Он намазал себе кусок. Откусил. Откинулся на спинку стула, жуя, и смотрел куда-то в потолок. Думал о чём-то своём.

Мы сидели так, ждали, пока дойдёт жаркое, и ели икру с хлебом. Как два царя. Как два миллионера. Как два дурака, которые на краю света нашли маленький кусочек счастья в жестяной банке.

— Степаныч, — сказал я.

— М?

— Спасибо. Что не сожрал её сам.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом улыбнулся — краешком губ, по-своему, но искренне.

— Не за что, — сказал он. — Ещё успею. Праздник же.

Жаркое дозрело. Мы выложили его в большую миску, поставили в центр стола. Салат — в другой миске, поменьше. Кильку с паштетом разложили по тарелкам. Открыли сгущёнку — я хотел сразу в чай, но Степаныч сказал, что десерт должен быть после ужина, и я не спорил. Комендант есть комендант.

Мы сели за стол. За окном темнело, в буржуйке потрескивали дрова, масляная лампа отбрасывала тёплый свет на наши лица.

— С Новым годом, Степаныч, — сказал я.

— С Новым годом, Толян, — ответил он.

Мы стукнулись кружками с чаем. Чокнулись, как в старые добрые времена. И начали есть.

Это был лучший ужин в моей жизни. Потому что он был

наш. Потому что мы его заслужили. Потому что мы были живы.

Икра кончилась быстро. Я не заметил, как съел свою половину. Степаныч — свою. Мы смотрели на пустую банку, и мне было немного грустно.

— Ничего, — сказал комендант. — Весной река вскрыется. Рыба пойдёт. Может, и своим умом икру добудем.

— Своим умом? — не понял я.

— Ну, поймаем рыбу с икрой, засолим, — объяснил он. — Тоже будет икра. Не лососёвая, но...

— Но икра, — закончил я.

— Икра, — кивнул он.

Мы помолчали. Смотрели на пустую банку, на объедки на столе, на догорающие дрова в печке.

— Степаныч, — сказал я.

— Ау?

— Спасибо за ёлку. И за икру. И за... ну, за всё.

Он поднял кружку. Посмотрел на меня поверх края.

— Не кисни, — сказал он. — Будет и икра. Будет и рыба. Будет и Новый год. А пока — давай доедать. А то жаркое стынет.

Я кивнул. Налил себе чаю. Намазал на хлеб остатки паштета.

За окном выл ветер, но в сторожке было тепло. Тихо. Хорошо.

Первый Новый год нового мира мы встретили достойно.

Глава 4. Кризис

Погода, которая несколько недель была к нам благосклонна, предпочла испортиться в середине января. Без предупреждения. Без «пожалуйста, извините за неудобства». Просто обрушила на нас снегопад, от которого мы успели отвыкнуть, и, честно скажу, даже не скучали.

Сначала я подумал — ну, пройдёт. Перемелется. С утра повалило, к обеду закончится. Так бывало и раньше — природа капризничала, но недолго. Но нет. Снег валил сутки, вторые, третьи. Он сыпал сверху густой белой крупой, залеплял окна, заметал тропинки, которые мы расчищали по несколько раз на дню. Казалось, что кто-то на небе решил вытряхнуть все запасы за один раз, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу до весны.

Мы снова встали на лопаты. Снова боролись с сугробами, которые вырастали за ночь до полуметра. Снова проклинали эту погоду, себя, свою судьбу и заодно того, кто придумал зиму.

Но дрова не ждут. И холод не спрашивает, удобно ли нам сейчас выходить из дома.

Одним январским утром я пошёл рубить дрова, которые почти закончились. Это была уже не привычная рутина, это была паника, которую мы оба старались не показывать. Поленица у дома съёжилась до того, что я мог обхватить её

взглядом целиком. Ещё неделя, и начнём жечь мебель. А мебели у нас, сами понимаете, кот наплакал.

Я надел тулуп — тот самый, овчинный, который Степаныч привёз из сторожки и который я поначалу ненавидел за тяжесть и неуклюжесть, а теперь считал своим лучшим другом. Сунул за пояс топор — старый, но верный, с рукояткой, которую я перемотал изолентой, потому что она треснула ещё в ноябре.

В самодельные сани — Степаныч смастерил их из досок и старых лыж, чтобы удобнее было перекатывать брёвна — бросил пилу «Дружба». Накинул на плечи ружьё, без которого мы не выходили за пределы территории. Даже за дровами. Даже на полчаса.

И пошёл.

Пробирался через гул ветра, который бил в лицо, норовил сбить с ног, залепить глаза снегом. Прикрывал лицо рукой, щурился, иногда останавливался, чтобы перевести дух и понять — туда ли я иду вообще? Вокруг всё было белым. Белое небо, белая земля, белые стволы деревьев. Ориентиры исчезли, растворились в этом молочном киселе.

Вокруг нашей сторожки красовались пеньки в таком количестве, словно мы занимались промышленной добычей на переработку, а не жгли обычный костёр. Честно говоря, я сам не заметил, как мы столько накопили. Каждый день по несколько брёвен — и вот уже поляна вокруг дома напоминает место вырубki, а не лесную опушку. Грустно, но что

поделаешь.

Каждая ходка заставляла уходить меня всё дальше и дальше от дома. Ближние деревья кончились. Теперь приходилось тащиться в глубину леса, проваливаясь в сугробы, обходя буреломы, тратя на дорогу столько же сил, сколько на саму рубку.

Кроме того, я всё же старался находить мёртвые деревья. Сухостой. То, что уже не жалко. Но это удавалось не всегда. Мёртвые деревья были хрупкими, часто гнилыми внутри, а хорошее сухое полено — это ценность, которую надо ещё поискать.

Сейчас я нашёл сухостой достаточно далеко от дома. Метрах в трёхстах, наверное. Ствол был высокий, прямой, без признаков гнили — я постучал по нему обухом топора, прислушался к звону, как учил Степаныч. Глухой звук — гнилое. Звонкий — живое. А тут было что-то среднее, но выбирать не приходилось.

Я снял с саней пилу, упёр её в ствол, и начал пилить.

«Дружба» чихала, кашляла, но тянула. Я работал в ритме — вжик-вжик, вжик-вжик, — и постепенно провалился в это состояние, когда не думаешь ни о чём, просто делаешь. Руки помнят, тело помнит, голова отдыхает.

Дерево поддавалось легко. Сначала тихий треск, потом нарастающий скрип, потом — мощный хруст, и ствол рухнул в снег, подняв облако белой пыли. Я выдохнул, вытер пот со лба, хотя на улице было минус пятнадцать.

Принялся затаскивать бревно на сани. Это отдельная песня — перевернуть, подсунуть, обвязать верёвкой, чтобы не свалилось по дороге. Руки скользили, варежки не давали нормально ухватиться, я матерился, сопел, но справился.

В этот момент краем глаза я увидел движение.

Сначала я подумал — показалось. Мало ли, тень от ветки, снег с дерева упал, снегирь пролетел. Но что-то внутри, то самое, древнее, что осталось у человека от тех времён, когда мы сами были частью леса, а не его гостями, сказало: «Замри».

Я замер.

Медленно, очень медленно перевёл взгляд.

Метрах в десяти от меня стояла стая волков.



Я даже дыхание задержал, чтобы не выдать себя. Пять. Нет, шесть. Серые, крупные, с поджатыми хвостами и внимательными глазами, которые смотрели не отрываясь. Они не рычали. Не скалились. Просто стояли и смотрели.

Чуть выдвинувшись вперёд, стоял красивый, статный серый вожак. Он был крупнее остальных — я бы даже сказал, матёрый. Шерсть на загривке стояла дыбом, но не от агрессии, а от напряжения. Он оценивал. Изучал. Решал.

Его взгляд скользил по мне, словно читал мою судьбу по строчкам — опасен я или нет. Сейчас нападать или подождать. Есть во мне страх или я готов защищаться.

Я стоял, вцепившись рукой в ремень от ружья на спине. Пальцы заоченели, но я чувствовал, как они сжимают кожаную полоску. Готов был вскинуть двустволку в любой момент. Но понимал: волков шестеро, а патронов в ружье — два. Два выстрела. Даже если уложу двоих — остальные разорвут меня за секунду.

Вожак медленно сделал два шага в одну сторону. Потом два шага в другую. Не приближаясь. Не отдаляясь. Просто покачивался, как маятник, гипнотизируя меня этим движением.

Я смотрел на него. На стаю. А потом на незримую черту под его лапами на снегу.

Я не знаю, почему я это сделал. Может, от страха, может, от отчаяния, может, от того, что в голове что-то щёлкнуло,

и я вдруг понял — бежать бесполезно, стрелять бесполезно, остаётся только говорить. С самим собой. С ними. С лесом.

— Я понял, — сказал я. Голос прозвучал глухо, сипло, но спокойно. — Твоя территория. Я ухожу. И не пойду туда.

Я сказал это для себя. Очевидно, что не для них. Волки не понимают человеческую речь, это же не диснеевский мультфильм. Но, может, они понимают интонацию. Может, чувствуют запах спокойствия, а не паники. Может, я просто выглядел в тот момент настолько глупо, что даже волкам стало неудобно нападать.

В тот момент я выглядел максимально дураком. Стою посреди леса, в тулупе, с топором за поясом, разговариваю с волками. Смешно, если честно.

Но ещё более странным было то, что это сработало.

Вожак несколько раз втянул воздух ноздрями. Глубоко, шумно, будто пробовал меня на вкус. Потом медленно развернулся, и не торопясь, не суетясь, показывая, что он здесь хозяин и ему некуда спешить, ушел. Остальные волки повторили его движение, как солдаты в строю.

Они скрылись в лесу так же бесшумно, как и появились. Растворились между стволами, и через секунду я уже не мог понять, куда смотреть. Только незримая черта осталась — чёткое и явное предупреждение.

Я выдохнул. Только сейчас заметил, что не дышал всё это

время. Лёгкие горели, сердце колотилось где-то в горле.

Схватил сани, не дожидаясь, пока придёт в себя, и потащил бревно к дому.

По возвращении я сразу пошёл к Степанычу. Он сидел на кухне, пил чай, читал какую-то старую газету — мы их берегли на растопку, но иногда он доставал одну, перечитывал, вздыхал. Я влетел, скинул тулуп на пол, сел напротив.

— Степаныч, я волков видел. Стаю. Вожака.

Он поднял голову. Отложил газету. Внимательно посмотрел на меня.

— Рассказывай

Я рассказал. Всё. Как стояли, как смотрели, как я сказал эту дурацкую фразу про территорию, как они ушли.

Степаныч выслушал молча. Не перебивал. Потом откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и заговорил.

— Волки — они умные, — сказал он. — И к территории привязаны жёстко. Мы для них — чужаки. Мы вторглись. Но они не дураки, чтобы нападать без нужды. Человек для них — опасность. Ружьё, топор... они чуют.

Он помолчал.

— Если бы ты побежал — они бы погнались. Инстинкт сработал бы. Если бы испугался, запах страха почуяли — напали бы. Если бы пошёл вперёд, на их территорию — тоже. А ты... ты просто стоял. И ушёл. Не к ним — от них.

— Я не специально, — признался я. — Просто замер. Не мог двинуться.

— Вот и хорошо, — кивнул Степаныч. — Значит, инстинкт сам сработал правильный.

Он замолчал. Посмотрел в окно, будто видел там что-то, чего я не замечал.

— Теперь за дровами ходи в другую сторону, — сказал он наконец. — И ружьё всегда держи наготове. Это «Ласт колл» от вожака, нарушишь — не простят.

Я кивнул.

С тех пор наши дни закрутились в монотонную воронку. Каждый следующий день был похож на предыдущий, как две капли воды. Проснулся — затопил печь — позавтракал — пошёл за дровами — пообедал — сходил за льдом — поужинал — спать. И всё по новой.

За исключением того, что за дровами мы теперь ходили в другую сторону. Туда, где не было волчьего следа. Туда, где вожак не стоял на страже.

Иногда, по ночам, я слышал вой. Он доносился издалека, с той стороны, где мы больше не ходили. Я лежал в кровати, смотрел в потолок и думал: они там. Им хорошо. У них своя жизнь, своя охота, свои законы. Мы им не мешаем — они нам. Паритет. Негласное соглашение, которое я не собирался нарушать.

В середине февраля, одним погожим утром — солнце светило, снег искрился, даже птицы как будто повеселели, я вышел из своей комнаты и застал Степаныча за столом.

Он сидел с листком бумаги и ручкой. Обычной шариковой, синей, той самой, которую мы нашли в лодке ещё летом и которая до сих пор писала, хотя, казалось бы, чернила

должны были давно кончиться. Он выглядел загруженным. Нахмуренным. Таким я его видел редко — обычно он или ворчал, или молчал, или работал. А тут сидел, что-то писал, потом зачёркивал, писал снова.

— Доброе утро! — сказал я бодро, подсаживаясь к столу. — Тоже решил стать книгописом? «Записки ворчуна»? Шедевр, я уверен. Бестселлер будущего.

Я пошутил, чтобы разрядить обстановку. Но Степаныч не улыбнулся. Даже не повёл бровью.

— Всё шутишь... — выдохнул он, откладывая ручку.

— А что не так? — я перестал улыбаться. — Что случилось?

Он помолчал. Потёр переносицу — у него была привычка так делать, когда он собирался с мыслями.

— Консервов, круп, да в целом... еды осталось от силы на месяц-полтора, — сказал он.

Спокойно. Буднично. Как будто сказал, что на улице идёт снег.

Я замер. Переваривал информацию.

— На месяц-полтора? — переспросил я.

— Ну, может, на два-три, если экономить как проклятые. Но это уже не экономия, это голодание.

Я посмотрел в окно. Февраль. До весны ещё месяц, а то и полтора. Март в этих местах — это не весна. Это тот же февраль, только с каплей по настроению. Река вскрыется не раньше апреля. Грибы, ягоды — и вовсе летом.

— До весны дотянем же, — сказал я, стараясь звучать увереннее, чем чувствовал. — А там грибы, ягоды, проклятая рыба... свой огород, в конце концов. Посадим картошку, вырастет. Не впервой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.